

Лишь Миша Тарковский не предал меня...
Пришёл в эту «Юность» — и прямо со входа
сморозил: «В Москве наступила фигня!
Зачем вы изгнали того, кто два года
на стульях на сдвинутых спал здесь? Не те
в Москве остаются... И я не останусь...»
И вирши забрал свои, будто в Бахте
дверями избушки бабахнул, повстанец!..

Лишь Миша Тарковский в три года разок
с мобилы подсаженной («Что за Царьковский?!» —
мне — мама. — «Ну как же, — соболий царёк!»)
звонит мне из поезда: «Юрка, перцовки!..»

Лишь Миша Тарковский, надравшись в Москве,
в Перми похмеляется, а к Енисею
грозит корефанам: «Самцы, я трезвею!» —
ступает на берег с царьком в голове:
Тарковский в бразды принимает Расею.

Он вывернул мехом наружу отъезд
смятенного дяди, он деда подправил —
фамильный, на Запад повёрнутый крест,
на равные доли отверженных мест
к Востоку, в чалдонские сны переставил.

Где соболь в соборе сибирской зимы
поклоны кладёт пред иконкой капкана,
где прикорм в чулках убегает с кормы,
где Карна и Жля, где меняется карма,
да так, что ни тройка строптивых коней
в своей многолюдно описанной пляске —
Расею и Духа Святаго над ней
Тарковский в собачьей вывозит упряжке.

— Давай, Михаил, вывози! — Вывожу!
— А я уже выпал... Я дальше не еду...
— Зачем же ты выпал? — Я дяде и деду
твоим всё-всё-всё про тебя расскажу...